

Олеся Юрий Карлович. 1917 - 1994 - 21.09.94
Лев Озеров. Портреты без расц.
Шостакович

Судорожными пальцами,
Рывками, словно к кипятку,
Прикасается к очкам
И не может ни им,
Ни рукам своим
Найти место.
Большой и мизинец
Трогают дужки очков,
Словно берут октаву.
Шостакович ежится, сутулится,
Словно знобит его,
Он не смотрит на нас,
Потом поднимает глаза пугливо
И сквозь щелки, сквозь стекла
Покалывающе глядит на нас
И словно бы не узнает.
Скороговоркой, со странными паузами
Он обращается к ученику своему,
Моему другу Болдыреву,
С молодых лет седому человеку:
— Игорь Георгиевич, все удачно.
Очень удачно.
Да, да, да.
Есть над чем поработать,
Но не увлекайтесь.
Доработками. Переработками.
Иначе всю жизнь
Будете писать. Одно. Сочинение.
Расточительно это!
Осуществляйтесь в следующем опусе.
— Понимаю, Дмитрий Дмитриевич.
Шостаковича зовут к телефону.
— Интересно?
Нет! Нет! Нет!
Он любит короткие слова
Повторять резко. Трикраты.
— Да, формалист.
Да, сумбура вместо музыки.
Так, черт знает что...
Так и пишете!
Слова в это он отрывает от сердца
И — отбрасывает.
Кладет тубку, просит прощения.
Трясет наши руки.
Так. Так. Так.
Потом поворачивается к нам спиной.
Согнувшись, что-то записывает
На клочке нотного листа
На подоконнике. Долго.
Подходит к роялю.
Мы слышим, возможно,
Только что сочиненное.
Ушел в музыку, в ее стихию.

Он где-то внутри ее.
Сидит, не дышит.
Шостакович забыл о нас.
Как хорошо, что забыл.
Лучше бы долго не вспоминал.
Но словно бы просыпается,
Или выходит из облака,
Или из моря.
Лоб разглаживается,
Зрачки увеличиваются,
С улыбкой растерянной и виноватой
На искривленных губах.
Снова пожимает нам руки,
Трясет их, оттягивает книзу.
Рад. Рад. Рад.



Провел я весь день в Дунине
До самых сумерек синих
И в парусиновой сумке —
Накорючен, обласкан,
Избыта тревога —
Уезжал роман-сказку
“Осударева дорога”.
Какой день! Какая удача!
Думаю, радуясь, чуть не плача.
Я видел близко его лицо,
Овеянное ветрами,
Видел руку, написавшую “Жень-шень”,
“Кацееву цепь”, “Лесную капель”,
Видел глаза благородства
Такого дерзкого и такого застенчивого.
Несколько дней я ходил по земле
Счастливейшим человеком.
С каким трепетом рукопись Пришвина
Я положила на редакторский стол!

Прошло три дня. Рукопись отклонили.
Как так? Почему? Мне не сказали.
Но когда попросили меня поехать
В Дунину и вернуть рукопись,
Прихватив с собой букет цветов,

Довженко

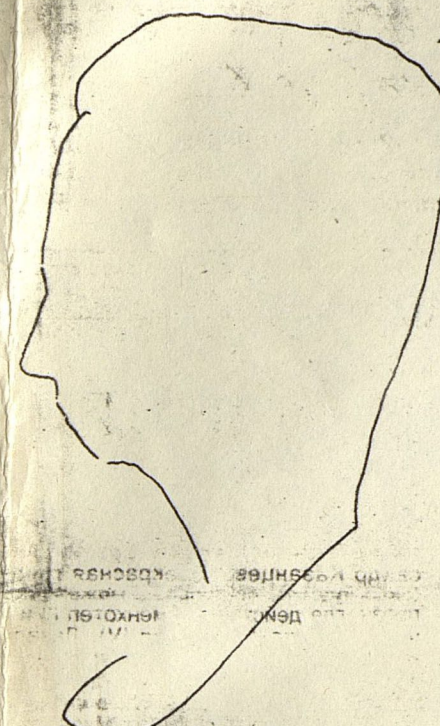
Прихожу, не условясь о встрече.
— Можно?
— Можно. Еще не вечер.
Заходите, развостроим
Наших мыслей вечерний улей.
Он сыпал образами,
Не придумывал — иначе не мог.
Голова на оленьей шее
Поднята высоко,
Крутая синяя седина,
Лоб, нос, поздри, глаза,
Красный загар —
Резьба по дереву
Местных пород.
Пахарь? Художник?
Кобзарь? Пчеловод?
Вся жизнь
Оплетена кинолентами,
И разносыми статьями,
И убогими стихами
Бедного Демьяна,
Пожалуйста, “Землю” Довженко
Сровнять с землей
Звонок. Входит Смолич
Юрий Корнеевич,
Прямо с вокзала.
Интеллигентно садится за стол,
Поглядывает, помалкивает.
Говорит Александр Петрович:
— Самовольно и грубо
Вписался Демьян
В сценарий жизни моей
Вместе с...
“С” остается без продолжения,
Пауза, тишь.
Вместо фамилии
Палец поднят
Стремительно авось
И там застывает.
Смолич покашливает, озирается.
Щеки Довженко пылают маково.
Он привлекателен
В сдержанной простоте.
Нет усталости,
Нет старости.
Садится в кресло — повествователь.
— Через много лет
В двух соседних палатах
Одной из истинной больницы
Ложим — я и Демьян,
Назвавший ленту мою кулацкой.
Подходит ко мне, говорит
(За язык я его не тянула):
— Не знаю, за что обругал я
Вашу прекрасную “Землю”.
Ничего в жизни не видел
Лучше этой картины...
Довженко искусно выдерживает паузу.
— Как вы думаете,
Чьи я ему ответил?
И Смолич, и я молчали,
Довженко же, как вначале,
Стал ходить по комнате.
— Я ничего не ответил, —
Сказал внезапно.
Он был прекрасен в эту минуту.
Одолов душевную смуту,
Он вернул нас к Десне,
Очарованной Десне,
К тихим вербам в голубизне,
К рыбацкой дремоте,
К закатной позолоте,
К ярмарочной пестроты.
“Куда так весело спешит
Базарная общественность?” —

Олеся

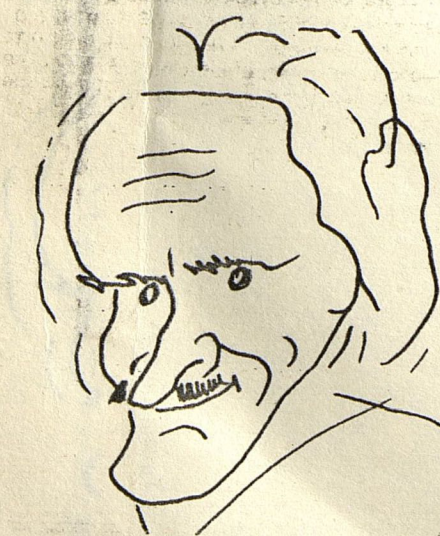
Он рванул на себе ворот рубашки
Так, что посыпались пуговицы.
— Что с вами, Юрий Карлович?
Не ответил,
Только сверкнул,
Нет, полосу
Исподлобья большими глазами,
Серыми до голубизны,
Слегка с зеленой Черного моря
В час вечерний на Ланжероне.
Это глаза колдуна
Или орубелевского Пана,
Который сложил
Могучие руки,
А мог бы землю
Взвалить на плечи.
Долго молчал Юрий Олеся,
Вместе с ним и я молчал,
Подумывая, как бы ретироваться,
Уйти незаметно:
Человеку подчас нужно
Поблизости к одиночеству,
Это не менее важно,
Чем дружеская беседа.
Наконец по комматной диагонали

Я наотрез отказался.
Вскоре я ушел из редакции.
Вернее — меня уволили
По собственному желанию.

Прошло почти полвека. Срамота.
Как будто я во всем был виноват.
Позор. Недавно пришедший дневник
Я прочитал, и вновь тот день возник:
“Это был такой удар
По голове, что я заболел”.
Писатель защитился тем, что он
Пять вариантов дал. И — недоволен.
Выпил себя, ведь нет чужой вины,
И всех благодарил, кто помешал
Печатать “Осудареву дорогу”.
Мне снились сны, один скучней другого:
В вагоне еду, запахом цветов
Овеян, выхожу не там, где надо,
Иду по берегу, бросаюсь в реку
И выплыть не могу. “Сюда, сюда!” —
Кричит мне Пришвин. Ничего не слышу.
И просыпаюсь. И цветет сирень.
Листок пустила белая береза,
И соловей росу берет с листка.
И он поет. Ужели зря поет?



Довженко вернул нас к деду Семену,
Расскал про его старость
И как после смерти
На его лице улыбка осталась.
Улыбка после смерти!
Он не дождал до голодомора,
До головокружения от успехов,
Тем более до Чернобыля,
Случившегося в тишайших местах,
В царстве рыб,
В королевстве птах,
На земле Украины.
Под сенью Щербицкого и Горбачева.
Довженко не дождал
До дней Чернобыля.
Та Десна, та Припять,
Тот Чернигов
Остались с ним.
— О Демьяне, кажется, все.
Да, я промолчал...
Это так теперь далеко,
Другая роль была у Сашко,
Моего улыбочного гонителя,
Премного пьес сочинителя,
У белозубого Корнейчука,
Как называл своего фаворита
Сам Сталин.
Вторично за этот вечер
Произносится это имя.
Пойдем дальше.
Прямо к чаю.
Вот и зовет нас
Юлия Ипполитовна.
Довженко, увидев ее, просиял.
Ах, Довженко!
Олеся шел.
Пристальный взгляд.
Тоска по невольному смуту,
Ускользнувшему, как вечерний свет.
Много пережил,
Вытравив чашу злосчастия до дна.
Экая милость! —
Не дождал до нынешних лет
И — какая удача —
Не увидел, во что превратилась
Его очарованная Десна.



Он зашагал, степенно сутулясь,
Одна его рука за спиной,
Другая за пазухой рваной рубашки.
Глаза полуснули
По мне вторично.

Вдруг он остановился
И смотрит —
Не на меня, а куда-то в далекость:
— Я предложил одному журналу
Новую повесть, а может, роман
И прочитал небольшой отрывок.
И что же вы думаете? —
Пауза. — Заинтересовались?
Ничуть не бывало!
“Дайте нам “Зависть”!” — они сказали.
“Зависть” написана”, — я ответил...
А вы спрашиваете, “что с вами?”.
“Что с вами?” — он повторил
И поднял кремнистый свой подбородок.

И подошел ко мне близко,
Очень близко, лицо к лицу,
Сказал торжественно и чеканно:
— Прошу запомнить — Юрий Олеся,
Неостребованный писатель...
И он опять заходил молча,
И он опять заходил сурово
По комматной диагонали.
Теперь как пленник, или изгнанник,
Или как там на картине Ван Гога —
Урки, движущиеся по кругу,
Заключенному в тюремные стены.
Когда он стал уставать,
От неистовства и от гнева,
Я уговорил его
Отправиться на прогулку.
Ему нужно рассеяться
И мне тоже —
Благодарному слушателю
Этого колдуна-рассказчика.
Выходим из ворот,
А в противоположные ворота
Выезжает фургон.
Из него выпрыгивают, как десантники,
Телевизионные мастера:
Операторы, режиссеры, помощники,
Помощники помощников,
Осветители и наблюдатели.
Люди путаются в проводах,
Вонзая в землю треноги,
Устающие горожане на природе.
Они побывали в двух-трех владениях,
К Олеся не заходили,
Он выпал давно из обихода,
Назовите это опалой.
— Пошли быстрее отсюда! —
Вскрикнул Юрий Карлович
И резко свернул налево.
Он зашагал по-прежнему,
Ссутулясь и вместе с тем
Вскинув голову так,

Как умел он один на свете.
Он шел, написавший “Зависть”,
Но не завидовавший богатым.
Отказывался от сидения

в президиумах,
От праздных речей
В присутствии руководства,
От престижных делегаций
И от многого другого,
Соблазнительного для большинства.
Он стал Франсуа Вийоном
Советского Средневековья.
Нищий для него привлекательней,
Чем сытый латифундист.
Лучше ни дня без строчки,
Чем гостиница для интуристов.
Он писал в стол.
Когда и смотрел на других авторов,
То вспоминал, что они написали.
Когда я смотрел на Олеся,
Я думал о том, что им не написано.
И сейчас, в это мгновение,
Когда я об этом подумал,
Он снова приблизил свое лицо
К моему лицу
И глазами колдуна,
Серыми до голубизны,
Слегка с зеленой Черного моря,
Поглядел на меня
И сказал: — Юрий Олеся —
Неостребованный писатель.
Сказал еще чеканней, чем прежде.
Мы молча вошли в лес
И молча вышли из леса.
Заметно потемнела
Сумеречная завеса.
Олеся сказал:
— Я глядел вокруг,
И если правду сказать, мой друг,
Не понял ни черта, ни бельмеса.
— Что вы, Юрий Карлович!
— Молчать! Не надо
Меня успокаивать.
Беспокойство — моя специальность...

Когда мы входили в ворота
Дома, в котором жили,
Олеся восторженно вскинул голову:
— Смотрите, как выездежидно!
И стал перечислять звезды,
Которые знал он.
Не только по имени,
Но и отчеству и фамилии.

Светлов

Тающий в небе ущербный месяц —
Это профиль поэта Светлова.
Краешек лба и подбородка
Тянутся друг к другу,
А между ними умная улыбка
Екатеринославского уроженца.
— Я живу среди теней,
Обступивших меня.
Сидят все друзья моей юности,
Иных уж нет.
— Что такое смерть? —
Спросил он.
И сам же ответил:
— Присоединение к большинству, —
Сказал он мне за столиком
В шумном коктейль-холле,
Который он называл котельной.
Печальнейший из людей,
Он взялся их веселить
И прослыл Ходжей Насреддином
Нашей поэзии.
Он пригубил коктейль,
Закурил и снова
Задал вопрос:
— Что такое поллитра?
И сам же ответил:
— Одна большая капля.
Светлов никогда не пил,
Но — запил.
— Почему полюбил я жидкость?
Во-первых, жид.
Кость — во-вторых.
Тем самым Светлов
Указывал на свою худобу.
Тоска по невольному смуту,
Вызвали вдруг туда, —
Жест указательным пальцем
Снизу вверх, —
И сказали мне так:
Мы вас знаем.
“Гренада”, “Пирушка”,
Знайте и нас,
Помогите нам выловить
Этих трюксистов.
“Я сам трюксист”, —
Выпалил я.
Знаем, знаем,
Поэтому вам легче их обнаружить.
Пауза — свистящий полет
С высокой скалы в пропасть.
Завтра же в это время
Приходите, мы ждем ответа.
И пошел я домой с Лубянки.
Маялся, маялся, скорбел,
Не знал, куда себя ткнуть.
Спать лег — не спится,
Сел — не сидится,
Встал — не стою,
Что делать?
Промучился до утра
С грехом пополам, кое-как.
Утром рано звонок.
Приехал земляк,
Моей юности друг.
Не один — с бутылкой,
Не только с бутылкой —
С обильной закуской.

Выпили — стало легче.
Добавили — стало легче.
Еще добавили — к небу взлетели.
Пообедали — жить прекрасно
В эту пору, в этой стране.
В назначенный срок
Пошел на Лубянку.
— Что ж, Светлов,
На ногах не стоите!
Пьянцы нам не нужны,
Прочь!
Меня прогнали —
Какой подарок.
Я шел домой —
И душа пела
И не желала
Играть в рифмы...
Простым способом
Так неожиданно,
Так случайно
Можно решить неразрешимое.
Влага с градаусами...

Светлов отпил из бокала
И опять закурил —
С охотой, самозабвенно,
Долго
Длилось его молчанье.
Очнувшись, он сказал:
— Слишком мрачно мы с вами
Поговорили сегодня.
Собственно, это я вас заговорил.
Отдохнем от острот.
Давайте пойдем по Москве,
По колыну бульваров.
Пойдем в Нескучный
И не будем думать о том,
Кто нас ждет за углом,
Даже если он
Нас действительно ждет.



Редакция “Литературной газеты” сердечно поздравляет
Льва Адольфовича Озерова с восьмидесятилетием.